

Он оказался на знакомой улице и не узнал её. Показалось, что дом, в который он хотел попасть, находится на нечётной стороне улицы, двумя кварталами впереди того места, где он стоял, тогда как он точно знал, что дом находится где-то поблизости – на чётной стороне. И тут он увидел высокую деревянную ограду школы, выкрашенную тёмным суриком. Это придало уверенности, и он побежал вдоль ограды, боясь опоздать. Наконец ограда кончилась – и он увидел дом, асфальтированную дорожку вдоль дома, площадку для игр, корявые клёны толпились знакомой кучкой. Откуда-то появилась большая, чёрная с белыми пятнами собака. Её нос ткнулся в его руку. Он узнал Дока. Собака радовалась ему, бегала кругами и беззвучно лаяла. Появление Дока обрадовало и насторожило. Через неширокую полоску земли, задев неосторожно куст шиповника и оставляя позади себя примятую траву, качающиеся ветки с тёмно-зелёной листвой и оранжевыми ягодами, он подошёл к дому и остановился у окна своей комнаты. Некоторое время смотрел сквозь стекло. В комнате никого не было, но он знал, что мама в доме. Костяшками пальцев он постучал по стеклу, позвал. Испугался, что его не услышат в доме, ещё несколько раз стукнул в стекло и крикнул. Из коридора появилась мама. Сначала – надежда, намёк, предположение, потом – уверенность, что это мама. Мама медленно шла к окну, часто останавливалась, – наверное, поправляла что-то в комнате, невидимое ему, – и шла дальше. Мама была не лицо, не глаза, не седые волосы. Мама была уверенность, что это – мама. Мама подошла к окну, и он увидел у неё в руках Серёжины коричневые, с прошитыми белыми суровыми нитками рантами ботиночки, которые были куплены давно, когда Серёже было ещё три года. Мысль о том, что Серёжа вырос, и эти ботиночки, ставшие ему малыши, пылились где-то никому не нужные, и что они были в руках у мамы, – отозвалась в груди тупой короткой болью. Он оцепенел, ощутив внутри жут-

кую пустоту. Невозможно было оторвать взгляд от мамы, которая неподвижно стояла у окна, держала за шнурки старые Серёжины ботиночки и молча смотрела сквозь стекло. С противоположной стороны улицы с карканьем, с хлопаньем многих крыльев поднялись в воздух птицы. Карканье множилось, заполняло пространство над головой, рождая дурные предчувствия и тоску. В груди возник холодок и тугим колючим клубком подкатил к горлу. Стало трудно дышать. Не ожидая ни помощи, ни спасения, всецело отдавшись охватившей его тоске, он заплакал. Захлёбываясь рыданиями, чувствуя тепло слёз на щеках, ещё не веря в то, что – внезапно переполнив его – выплеснулось слезами, он закричал: «Мамочка, не умирай... не надо... родная, не умирай... не смей... мамочка...».

Он плакал и кричал сквозь слёзы... «Так легко и самозабвенно плакать, целиком отдаваясь слезам, можно только во сне», – подумал он – и тут же понял, что спит. Он предпринял отчаянную попытку проснуться. Несколько раз ему казалось, что очередная попытка удалась и он проснулся, но вскоре догадывался, что ошибся, что всё ещё находится внутри мучительного сна, и продолжал метаться, холодея при мысли, что не сумеет вырваться.

* * *

Аркадий Петрович Наумов проснулся с сильно бьющимся сердцем. Переход от сна к действительности совершился вдруг, и Аркадий Петрович понял, что не спит, только когда почувствовал щекочущее тепло сползающих по щекам слёз и услышал свои всхлипывания. В его сознании продолжал лихорадочно биться ужас от увиденного и пережитого во сне. Некоторое время ушло на то, чтобы отделить сон от действительности.

Находясь во власти ночного кошмара, пытаясь вырваться из него, Аркадий Петрович мотал головой, кричал, размахивал руками в надежде задеть жену или хотя бы перевернуться на другой бок и проснуться, и ему казалось, что эти движения, несмотря на их затруднённость, словно он двигался в невесомости или в воде, ему удавались. Проснувшись же, осознал себя неподвижно лежащим на спине с руками, мелко вздрагивающими на одеяле, всхлипывающим, с ползущими по щекам слезами.

Аркадий Петрович был опустошён и подавлен увиденным во сне. Слезы, продолжая накапливаться в уголках глаз и сползая по щекам, доставляли облегчение, хотелось плакать не сдерживаясь, рыдать в голос. Потерянность и слабость вызвали в Аркадии Петровиче чувство жалости к самому себе. Его захлестнула потребность в сочувствии, захотелось, чтобы кто-нибудь успокоил его, пожалел, сказал ободряющее слово.

Рядом зашевелилась жена. Она перевернулась на бок, спиной к нему, пробормотав что-то, и Аркадий Петрович почувствовал тепло женского тела, прижавшегося к его бедру. И тут же испугался, что жена проснётся и увидит его слёзы. Чего-чего, а слабости она никогда не прощала. Она, конечно, ничего не поймёт, рассердится, что он, как она выражалась, «разломал её сон», или ещё хуже: объяснит его слёзы... Невозможно даже представить, чем она их объяснит, а может, и объяснять не станет, а просто обругает со сна грубыми, унижительными словами.

Аркадий Петрович перестал всхлипывать, замер. Женщина, лежащая рядом, и вспыхнувшая неожиданно неприязнь к ней окончательно вернули его к действительности. Эта женщина даже спала уверенно, так, будто ничто не смело потревожить её сон.

До боли захотелось вернуть те дни, когда Серёжа был маленьким, беспомощным, но таким ласковым и смешным, нуждающимся в постоянном внимании и заботе. Он всё время о чём-нибудь спрашивал, часто уставал и просился на руки. Рядом с сыном Аркадий Петрович чувствовал себя большим, умным и сильным. Он знал, что нужен сыну, что без него Серёже, конечно, будет плохо, и это мирило его с эгоизмом жены. Но время маленького Серёжи проходило непоправимо и навсегда. Взрослея, Серёжа становился грубее, эгоистичнее и этим всё больше походил на Ангелину, постепенно отдаляясь от отца.

Аркадий Петрович лежал с закрытыми глазами не в силах ни заснуть, ни отвлечься от беспорядочных назойливых мыслей и образов.

Снова вернулись мысли о недавнем сне, предчувствие утраты и одиночества. Но он уже не спал, худо-бедно пришёл в себя и уже мог с этим бороться. К бедру прижималось тёплое тело женщины, разбудить которую он боялся, слышалось её равномерное посапывание. За стеной, в соседней комнате, спал мальчик, менявшийся на

глазах и раздражавший в последнее время всё чаще. Стоит открыть глаза, – и исчезнет наваждение, и появится комната, уставленная мебелью, к которой он никак не может привыкнуть, но которая так нравится его жене.

В конце концов Аркадий Петрович устал, успокоился и уснул.

Всё, о чём думал и что чувствовал Аркадий Петрович в эту ночь, настолько взаимопроникало и переплеталось, что разделить и последовательно изложить свои мысли и чувства было для него трудом почти невозможным. Но Аркадий Петрович, часто и в подробностях вспоминая этот сон и то, что было после сна, как нечто очень важное для себя, выработал определённую последовательность воспоминаний, какие он был в силах восстановить.

* * *

За окном прорабского вагончика ревел бульдозер, засыпая траншею и тут же тяжёлым отвалом приминая кучи дыблящейся земли, чтобы придать площадке относительно пристойный вид. Бульдозер нужно было вернуть к пяти. У бетонного узла КрАЗ вывалил в высокое «корыто» раствор и, хлопая задним бортом, откатил к бытовкам, опустил кузов. Из кабины КрАЗа выскочил плотный насупленный парень в новенькой телогрейке и озабоченно несколько раз пнул сапогом заднее колесо, то ли сбивая с колеса грязь, то ли проверяя его надёжность. Ему навстречу, пересмеиваясь и толкаясь, выходили из бытовки рабочие. От «корыта» с раствором поднимался пар.

До обеденного перерыва оставалась пара часов.

Наумов, прораб пятого строительного участка, разговаривал в прорабском вагончике с мастерами: Кузьминым, Духариным и Гришиным, советовал, запрещал, объяснял, спорил. Спорил в основном с Гришиным, советовал и запрещал Кузьмину. Духарин же, во всём соглашаясь с прорабом, только поддакивал и утвердительно кивал головой. Наумов «делал дело», к которому привык, которое делал изо дня в день вот уже около десяти лет и которое теперь шло, казалось, само собой, как хорошо отлаженный механизм. Внешне он был спокоен, деловит и неулыбчив. Тридцатилетний, начинающий полнеть мужчина, он мог бы ещё нравиться женщинам, если бы не неприветливый, колючий взгляд, заставлявший многих сторониться и избегать его. Мастера знали Наумова как толкового, прямого,

но и жёсткого начальника, они удивились бы и сильно, если бы им кто-нибудь рассказал про раздрай в его душе, смуту и беспокойство, тяжёлые мысли, что точили его, как черви яблоко. Сон не забывался, вспоминался вновь и вновь, причинял беспокойство, мешал жить.

А если и вправду мамы не станет, – вдруг приходило ему в голову, – ведь она старенькая, к тому же у неё большое сердце и куча других болезней. Наумова бросало в жар, потом в холод. Становилось страшно: огромный кусок жизни исчезал вместе с мамой. Исчезала опора, без которой он терял равновесие и летел в пропасть.

С беспощадной ясностью Наумов увидел свою жизнь. Детство, прошедшее под пристальным взглядом человека в военной форме – отца, чей портрет висел в маминой комнате. Дворовые приятели, одноклассники, с которыми после школы он поддерживал отношения; а потом кто-то из них уехал, кто-то погиб, кто-то опустился, кто-то поднялся чересчур высоко... Многочисленные увлечения: марки, открытки, пластинки, книги; и среди прочих главное – рисование. Занятия в кружке. Попытки, не всегда удачные, увидеть по-своему окружающий мир: предметы, дома, знакомых. И работа на стройке. Техникум. Потом архитектурное отделение института. Снова работа. Ангелина.

Когда Наумов решил жениться, мама не отговаривала, сказала только: «Смотри, Аркаша. Тебе с женой жить, ты и решай. Но я бы не советовала торопиться. Присмотритесь друг к другу, подумайте». Ангелина настояла на том, чтобы они жили отдельно. Когда Серёже было три месяца, произошёл случай, который Наумов долго не мог забыть. Мальчик был беспокойный, плохо спал ночами, часто просыпался, плакал. В ту ночь Серёжа просыпался несколько раз, и Наумов, полусонный, убаюкивал его. Когда Серёжа заплакал в очередной раз, вскочила с кровати Ангелина. Она обругала мужа такими словами, какие ему приходилось слышать на стройке, когда рабочие выясняли между собой отношения, оттолкнула его от Серёжи и сама взяла сына на руки. Наумов остаток ночи провёл на кухне, потрясённый случившимся. Да любит ли его Ангелина, если способна так обидеть? После этой ночи он с удивлением стал замечать, что жена мнительна, расчётлива, эгоистична, властна, завистлива, груба. Это «открытие» поразило его.

В первые годы семейной жизни Наумов перестал рисовать; то есть, конечно, он ещё вспыхивал, пытался делать какие-то наброски,

эскизы, но всё реже и реже. При встрече с кружковцами отшучивался или отмалчивался, переводил разговор на другое. Передавая приветы Евгению Петровичу, руководителю кружка, говорил, что копит впечатления, не хочет разбрасываться материалом, рисует, хотя и редко. Но это было неправдой. Когда ему было рисовать? Он не успевал толком даже отдохнуть. Всё время отнимали работа, семья, институт. Рисовать же наспех он не хотел да и не мог. Он слишком любил это занятие, чтобы делать его кое-как. К тому же совершенно неожиданно и не сразу Наумов заметил, что Ангелину раздражает его занятие рисованием. Как только он брался за карандаш или краски, жена, если она в это время была дома, находила множество всевозможных дел, которые нужно было именно сейчас и немедленно сделать. Она считала его увлечение рисованием пустой тратой времени, блажью. Если же он пытался рисовать в её отсутствие, то, вернувшись, она, делая гримаску, насмешливо и как бы вскользь говорила: «Ну вот – опять блажишь, дорогой. Нет чтобы сделать что-нибудь полезное». Времени на учёбу оставалось всё меньше, учиться становилось всё сложнее, и на третьем курсе пришлось бросить институт.

К маме Аркадий Петрович в последнее время заходил редко, в основном когда было что-нибудь нужно от неё, чаще звонил. Ангелина, когда он возвращался от мамы, доводила его до бешенства мелкими придирками и попрёками. А потом, когда он не выдерживал и взрывался, со слезами на глазах утверждала, что его дурное настроение – следствие посещения «этой женщины».

Работая прорабом, Наумов подрабатывал составлением смет в проектно-конструкторское бюро – ПКБ. По сравнению с первыми годами семейной жизни, теперь он зарабатывал больше. Но чем больше он зарабатывал, тем больше не хватало. Квартира, теперь уже не съёмная, а своя, мебель, телевизор, посуда – все элементы внешнего благополучия накапливались относительно быстро. Но внешнее волновало его мало. Нет, он не был бесребреником, для которого с милой рай и в шалаше. Он способен был оценить уют, вкусную еду, красивые вещи. Он мог бы работать ещё больше, зная, что рядом человек искренний, любящий его ради него самого, а не ради пользы, от него получаемой. Но такого человека, как ему казалось, не было. По крайней мере, он так чувствовал. Терялся смысл бесконечной, начинавшей тяготить работы.

О будущем Наумов старался не думать. Он всё чаще вспоминал детство. Задерживаясь на работе, рисовал по памяти уголки двора, дом, где он жил когда-то вместе с мамой, беседку, фонтан, ребятчи физиономии.

Снова и снова навязчиво вспоминался сон, тревожа и беспокоя. Казалось, что, если мамы не станет, – исчезнет единственный близкий человек и вместе с ней исчезнет мир детства, такой счастливый и беззаботный. Как и ночью, после пробуждения, захотелось немедленно увидеть маму, убедиться, что с ней всё в порядке, что сон – это только сон и ничего больше.

После обеда, оставив за себя Зарипова, Наумов ушёл с работы.

* * *

Вскочив в полупустой автобус, Аркадий Петрович испытал облегчение. Если раньше он ещё сомневался – ехать или не ехать, пытался уговорить себя не пороть горячку, то теперь, в автобусе, откровенно радовался тому, что решился поехать. Правда, потом предётся «отблагодарить» Зарипова. Но это – потом. Мысль о том, что он должен был весь день работать, мучаясь: как там мама, – была просто невыносима.

Через какое-то время он уже шёл по знакомой улице, чувствуя примерно то же, что чувствует человек, возвратившись после долгого отсутствия в родные места. Ноги сами несли его вперёд, к дому, который он, кажется, нашёл бы с закрытыми глазами. Двор был пуст. Как только станет теплее, старики будут появляться во дворе, прогуливаться вдоль дома, сидеть на скамейках и провожать прохожих внимательными взглядами. Сейчас же во дворе никого не было.

Форточка в мамином окне была закрыта. Аркадий Петрович вошёл в подъезд и надавил на кнопку звонка у знакомой двери. Через некоторое время щёлкнул замок и дверь приоткрылась. Он вошёл. Мама была в домашнем халате с шалью на плечах. Её лицо осветилось доброй, как бы виноватой улыбкой:

– Аркашенька!

И тут же в её глазах мелькнул страх:

– Что-то случилось? Серёжа здоров? Как Геля?

Не отвечая, Аркадий Петрович прошёл в прихожую, снял пальто, разулся. Рядом суежилась мама. Ему стало спокойно и хорошо.

– Всё в порядке, мама. Все здоровы. Я просто так зашёл.

Женщина удивлённо посмотрела на сына, помолчала.

– А я вот немного приболела, Аркашенька, – голос мамы звучал виновато. – Простудилась, наверное. Или инфекцию подхватила. Много ли старому человеку надо. Третий день никуда не выхожу. Всё дома.

Слушая негромкий голос, что-то отвечая, Аркадий Петрович прошёл в комнату. Здесь всё было по-прежнему. Со стены смотрел на него человек в военной форме – его отец, которого он никогда не видел. Рядом в рамках висели фотокарточки: пятилетнего Серёжи, обнимающего за хобот похожую на слона игрушку, и его, Наумова, – школьная. На столе лежали листы бумаги. Аркадий Петрович взял их в руки. Детские рисунки, на которых летели самолёты, плыли корабли, стреляли пушки, человечки с прямоугольными погонами, в фуражках шли в атаку среди взрывов. А над полем боя – солнце – большая круглая красная лепёшка с торчащими во все стороны лучами. Его детские рисунки. Были тут и рисунки периода его кружковства: натюрморты, пейзажи, виды города. На одном была изображена собака с почти квадратной мордой и острыми ушами. Док. Его пришлось отдать чужим людям после того, как появился Серёжа. Ангелина настаивала, чтобы он избавился от собаки. А потом он узнал от мамы, что Дока насмерть сбила машина, когда тот, увидев на другой стороне улицы собаку, кинулся к ней.

– Откуда? – Аркадий Петрович удивлённо посмотрел на мать.

– Это-то? – смутилась она. – Из ведра вытащила. Ты уж не сердись, сынок. Когда вы с Гелей переезжали, она много разного старья повыбрасывала. А я, когда мусор выносить собралась, гляжу – они сверху лежат, в трубочку свёрнутые. Жалко мне их стало. Ну я и оставила... Да что это я! Ты голодный, наверное.

Мама скрылась в кухне.

Аркадий Петрович стоял у стола и перебирал рисунки. Теперь он уже так бесстрашно не рисовал. Нынешние его работы, запертые в прорабском вагончике, в ящике большого, заляпанного краской ободранного рабочего стола вперемешку с бланками нарядов, требований, чертежами, – скупее, жёстче, мастеровитее. Они потеряли непосредственность и наивность детских рисунков, своеобразие кружковских. Они многое потеряли. Так же, как и он – многое потерял.

Последнее время он всё куда-то спешил, боялся опоздать, зарабатывал деньги, покупал ненужные ему вещи. А зачем? Для чего? Он и сам не знал.

Наумов подошёл к окну, прислонился лбом к холодному стеклу. За окном шёл снег. Дорожка, ведущая к подъезду, стала белой. Ему пришла мысль нарисовать эту дорожку, акации, двор, дом...

– Аркаша, иди к столу, – позвала из кухни мама.

Приёмник, всё тот же – «Чайка», пел, как и тогда, давно: «Вот кто-то с го-о-рочки-и спустился-а, наверно, ми-и-лый мой идё-о-т...».

Тогда, давно, он пришёл домой поздно, усталый, и с порога, едва переодевшись, стал рассказывать маме про то, чем был заполнен его день. Он работал сменным мастером, и ему приходилось со слесарями или электриками выезжать на вызовы. Домой после работы он возвращался на дежурной машине. Так было удобнее и быстрее. Не торопясь, умывался. Бурые пятна на руках плохо отмывались. Он тёр их пемзой до тех пор, пока руки не становились розовыми. Сидя за столом и хлебая борщ, поглядывал на Дока, который лежал на коврик в коридоре. Убирая со стола, мама тогда спросила: «Аркаша, ты отнёс документы в институт?». – «Нет, мама». – «Сынок, отнеси. Я очень тебя прошу. Ты должен учиться. Это ничего, что будет трудно первое время. Ты не думай». Мама мыла посуду и говорила, убеждала. Он согласился: «Ладно, мама, я попробую». Лицо в мелких, едва заметных морщинках просияло. «Вот и хорошо, сынок. Вот и хорошо».

На столе дымилась сковородка с картошкой, рядом стояла тарелка с малосолевыми огурцами. Мама спрашивала сына о работе, о доме. Он что-то отвечал преувеличенно бодрым голосом. Мама слушала его внимательно, переспрашивала, кивала. Аркадию Петровичу захотелось рассказать ей о рисунках, о тех, которые на работе, и тех детских – на столе, о песне («она меня-а с ума сведё-о-т») из его прежней жизни, о Серёжином характере. Он говорил долго, путаясь и удивляясь бессвязности того, о чём говорит. Хотелось объяснить что-то, самому пока ещё не до конца ясное. Мама слушала, кивала и тихо время от времени говорила: «Миленький ты мой... миленький ты мой...». Это подхлёстывало Аркадия Петровича, заставляло ловить ускользающую мысль и говорить, говорить...

Наумов засиделся у матери допоздна.

Прощаясь, мама сказала: «Ты заходи, Аркаша, не забывай. Хотя, конечно, не всегда есть время. Но ты всё же не забывай». Наумов был взволнован встречей с матерью. Как он мог не приходиться к ней так долго? Стоило побывать в доме, где он вырос, – как неумолимо высветилась пустота его нынешней жизни, изменить что-либо в которой ему даже не приходило в голову. Что он мог сделать для матери? «Что ты, что ты, сынок. Мне ничего не надо. У меня всё есть», – в ответ на его вопрос-предложение испуганно замахала руками мать. Его не удивили эти слова. «Ведь верно: у мамы всё есть, – думал Наумов теперь, – и картошка, удивительно вкусная, такая же, как всегда, и они все: Серёжа, он (Наумов, прежний), отец, требовательный взгляд которого преследовал сейчас Наумова, и, главное, она сама – чуткая и добрая. А у него? Что осталось у него?..».

Аркадий Петрович Наумов шёл по знакомой улице, оставляя следы на только что выпавшем снегу. Через несколько кварталов будет площадь, где снег многими ногами и колёсами уже превращён в грязное месиво. Там много огней, шумно.

Тени сгущались. На небе высветились звёзды. Быстро темнело.

